



ЕЛЕНА Елена Блловотская БЛАВАТСКАЯ



КАРМИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ

«СТЕПАННЕ ПАТРИС»

- « Персидские видения »
- « Видения в Турфанах Востока »
- « Западнорусские видения »
- « Сентиментальное видение »
- « Видения, или, как их видеть »
- « Кармические видения »

LITRU.RU

Елена Блаватская

Заколдованная жизнь

Введение

Была темная холодная ночь в сентябре 1884 года. Тяжелый мрак спустился над улицами маленького городка на Рейне и повис, подобно черному погребальному покрову, над скучным фабричным местечком. Большая часть его обитателей, изнуренных дневным трудом, давно уже удалилась на покой.

Все было тихо в большом доме; на опустелых улицах царила тишина.

Я тоже лежала в постели; но увы, не для отдыха, а пригвожденная на несколько дней страданием и болезнью. Так тихо было в доме, что, по выражению Лонгфелло, тишину эту можно было почти расслышать. Я могла ясно разобрать движение своей крови, как она стремительно пробегала по моему больному телу, производя то монотонное пение, которое хорошо знакомо страдающему от бессонницы. Я прислушивалась к этому пению, пока оно не перешло в моем воображении в шум водопада, в падение могучих водных потоков... Как вдруг, изменяя внезапно свой характер, «пение» перешло в другие, более приятные звуки. Это был тихий, вначале едва слышный, шепот человеческого голоса. Он приближался и, постепенно усиливаясь, говорил в самое мое ухо. Так звучит голос, проносясь по неподвижному голубому озеру в одном из тех удивительных акустических проходов среди снеговых гор, где воздух так чист, что произнесенное за полмили слово кажется прозвучавшим вот здесь, у самого вашего уха. Да, это был голос того, к кому нельзя было относиться без глубокого почитания; голос, с которым для меня были соединены глубокие мистические воспоминания; голос, всегда для меня желанный в течение многих лет и особенно желанный в часы душевных и физических страданий, ибо он всегда приносил с собой луч надежды и утешения. «Бодришься... – прошептал он мягким ласкающим звуком. – Думай о днях, проведенных в светлом общении; думай о великих истинах, подслушанных у природы, и о многочисленных человеческих заблуждениях относительно этих истин и попробуй прибавить к ним новый опыт. Пусть рассказ о странной и интересной жизни наполнит эту ночь и поможет сократить часы твоих страданий... Внимание! Смотри туда перед собою!»

«Туда» означало большие светлые окна пустого дома по ту сторону узкой улицы немецкого городка. Они выходили как раз против окна, перед которым стояла моя кровать. Послушная приказанию, я устремила глаза по указанному направлению, и то, что я увидела там, заставило меня на время позабыть страшную боль, которая терзала мою распухшую руку и мое ревматическое тело...

Над окнами полз туман; густой, тяжелый, извивающийся, беловатый туман, похожий на огромную тень гигантской змеи, медленно развертывающей свои кольца.

Постепенно туман бледнел, исчезал, и за ним показался блестящий свет, нежный и серебристый, словно на поверхности окон отразились тысячи лунных лучей с тропического неба – сперва снаружи дома, а затем и внутри, наполняя пустые комнаты. Далее я увидела тот же туман, удлинившийся и перекинувшийся в виде воздушного моста от заколдованного окна на мой балкон, а затем и на мою собственную постель. Пока я продолжала глядеть, окна, стены и самый дом внезапно исчезли. На месте, где были пустые комнаты, я увидела внутренность иной небольшой комнаты, которую я признала за швейцарское шалэ – рабочий кабинет, старые, темные стены, покрытые от пола до потолка книжными полками, на которых виднелось много древних фолиантов. Посреди комнаты стоял старомодный стол, заваленный манускриптами и письменными принадлежностями. Перед ним, с гусиным пером в руке, сидел старый человек, мрачный, худой как скелет, с лицом до того тонким, бледным и пергаментным, что свет одинокой лампы отражался двумя яркими точками на его выдающихся скулах, словно они были

выточены из слоновой кости.

Когда я осторожно приподнялась на подушках, чтобы хорошенько разглядеть его, все, и шалэ, и рабочий кабинет, и полки, и книги, и сам пишущий заколебались и начали двигаться. Медленно начали они приближаться все ближе и ближе, бесшумно скользя по облачному мосту, перекинутому через улицу, проплыли сквозь закрытое окно моей комнаты и под конец остановились у самой моей постели.

«Прислушайся к тому, что он думает и что собирается писать, – услышала я успокоительные звуки того же знакомого, издали звучащего голоса. – Ты услышишь рассказ, который сократит для тебя длинную бессонную ночь и заставит на время забыть твои страдания... Попытайся!»

Я пыталась исполнить, что было мне велено. Я сосредоточила все мое внимание на одинокой пишущей фигуре, которую видела перед собой, сама оставаясь для нее невидимой. Вначале скрип гусиного пера, которым старый человек писал, не передавал ничего, кроме тихого, шепчущего звука, который трудно описать. Затем до моего слуха начали постепенно доноситься неясные слова слабого, отдаленного голоса, и мне казалось, что наклоненная над манускриптом фигура читала свою повесть вслух вместо того, чтобы писать ее. Но вскоре я убедилась в своей ошибке. Взглянув на старого человека, я увидела, что губы его крепко сжаты и неподвижны, голос был слишком тонкий, чтобы быть его голосом. Еще удивительнее, что при каждом слове, написанном его слабой старой рукой, я видела свет, сверкающий из-под его пера, большие разноцветные искры, которые немедленно превращались в звук. Это и был маленький голос гусиного пера, его-то я и слышала, хотя и пишущий, и перо могли быть за сотни миль от Германии. Такие вещи случаются иногда, в особенности по ночам, «под звездным пологом которых мы познаем, – как выразился Байрон, – язык иных миров...»

Как бы то ни было, слова, произнесенные гусиным пером, остались надолго в моей памяти. Да мне и не трудно было восстановить их; стоило мне присесть с мыслью записать их, как вся история, неизгладимо запечатленная на астральных таблицах, начала в последовательных картинах проходить перед моим внутренним взором. Так всегда бывает со мной, и мне остается только переписывать то, что я вижу перед собой. К сожалению, мне не удалось узнать имени моего ночного гостя. Несмотря на это я надеюсь, что читатель найдет записанную мной историю небезынттересной для себя.

1. История незнакомца

Место моего рождения – маленькая горная деревушка, горсть швейцарских коттеджей, брошенных в солнечном уголке, между двумя разрушенными глетчерами, над которыми поднимается покрытая вечными снегами вершина. Туда тридцать семь лет назад я возвратился искалеченным физически и нравственно, надеясь умереть; но чистый, живительный воздух моей родины решил иначе. Я все еще жив; может быть, чтобы свидетельствовать о фактах, которые я глубоко скрывал от всех, рассказать ужасную повесть, которую я предпочел бы скрыть навеки.

Многие будут склонны рассматривать все эти события с точки зрения высшего Промысла; но я никогда не верил в Провидение, и все же я не могу приписать их простой случайности. Я связываю эти события с одной основной причиной, от которой произошло все последующее. Слабым, старым человеком стал я ныне, но физическая слабость не подорвала моих умственных способностей. Я вспоминаю мельчайшие подробности той страшной причины, которая породила такие роковые результаты. Они-то и убеждают меня в действительном существовании того, кого я желал бы – и как страстно желал! – считать созданием своей фантазии, преходящей тенью горячечного страшного сна! О это ужасное, кроткое и всепрощающее, это праведное и таинственное существо! Именно этот образец всех добродетелей и отравил так жестоко всю мою жизнь. Это он выбил меня с такой силой из безопасной колеи моей прежней жизни, это он внушил мне уверенность в потусторонней жизни, прибавив этим еще один лишний ужас к без того уже погубленному существованию...

Чтобы выяснить положение вещей, я должен сказать несколько слов о себе. О, как желал бы я изгладить всякое воспоминание об этом ненавистном себе!

Рожденный в Швейцарии от французских родителей, которые видели всю мировую мудрость в литературной троице Вольтер-Руссо-Гольдбах, и воспитанный в германском университете, я вырос полнейшим атеистом. Я не мог себе даже представить что бы то ни было, а тем более единое Существо, – поверх или вне видимой природы, отличное от нее. Поэтому я считал все, неспособное пройти через точный анализ физических чувств, чистейшей химерой.

Душа, думал я, если предположить, что у человека есть душа, должна состоять тоже из материи.

По определению Оригена, *incorporeus* – эпитет, который он дает своему богу – означает субстанцию, лишь более тонкую, чем наше физическое тело, о которой мы, в лучшем случае, не можем иметь никакой определенной идеи. Каким же образом то, о чем наши чувства не дают нам никакого ясного представления, может быть видимым и стать осязаемым проявлением?

В таком настроении я не мог чувствовать ничего, кроме презрения к зарождавшемуся тогда спиритуализму, и выслушивал все подобные басни с насмешкой, в которой был всегда оттенок гнева. Последнее чувство никогда не покидало меня.

Паскаль в VIII отделе своих «Мыслей» признается в полной своей неуверенности в существовании Бога, я же в течение всей своей жизни исповедовал полную уверенность в несуществовании какого бы то ни было внекосмического Существа и повторял вместе с великим мыслителем его достопамятные слова: «Я смотрел, не оставил ли этот Бог, о котором говорит весь мир, какого-либо следа на земле. Я смотрю всюду, и всюду встречаю одну лишь темноту. Природа не дает ничего, что не вызывало бы во мне сомнения и тревоги».

И я лично чувствовал так же. Я никогда не верил и никогда не поверю в Верховное Существо; но в скрытые свойства человека, признаваемые на Востоке, силы, настолько развитые в некоторых людях, что благодаря им они делаются как боги, эти силы я должен был признать и не могу более смеяться над ними. Вся моя разбитая жизнь доказывает их существование. Я верю

в них и проклинаяю их, откуда бы они ни являлись.

После смерти моих родителей я, благодаря неудачному процессу, потерял почти все свое состояние и решил – не столько для себя, сколько для тех, кого любил – составить себе новое состояние. Моя старшая сестра, которую я боготворил, вышла замуж за бедного человека. Я принял предложение богатой гамбургской фирмы и отправился в Японию в качестве ее младшего компаньона.

В течение нескольких лет мои дела шли успешно. Благодаря доверию, которое я заслужил у многих влиятельных японцев, мне удавалось проникать в такие области, которые тогда были трудно доступны для иностранцев. Равнодушный ко всем религиям, я заинтересовался философией буддизма, единственной религиозной системой, которая достойна названия философской. Я любил в свободное от работ время посещать наиболее замечательные храмы Японии, самые любопытные из девятиста шести буддийских монастырей Киото. Я осматривал по очереди Дай-Бутзу с его гигантским колоколом, Дзионине, Энарино-Иассеро, Киэ-Миссу, Хигадзи-Вонзи и многие другие знаменитые храмы.

Время шло, но я не изменял своему скептицизму и оставался при своих прежних мнениях. Я поднимал на смех претензии японских бонз и аскетов так же, как смеялся над христианскими священниками и европейскими спиритуалистами; не мог же я, в самом деле, верить в существование каких-то неведомых сил, неизвестных людям науки? Суеверные и меланхолические буддисты, которые учат избегать радостей жизни, искоренять страсти и делаться одинаково бесчувственным как к счастью, так и к несчастью, чтобы приобрести какие-то химерические силы – все они были необыкновенно потешны в моих глазах.

Однажды, в день, навсегда незабвенный и роковой, я познакомился с очень ученым и почтенным бонзой по имени Тамоора Хидейери. Я встретился с ним у подножия золотого Куэн-Он, и с этого момента он стал моим лучшим другом. Но несмотря на все мое уважение к нему, я никогда не упускал случая, чтобы не поднять на смех его религиозные предрассудки, чем нередко оскорблял его чувства.

При этом мой старый друг проявлял столько кротости и всепрощения, что мог бы удовлетворить самое правоверное буддийское сердце. Он никогда не злился на мои злые сарказмы и ограничивался кротким протестом: «Подождите и сами увидите». Он не мог даже поверить моему отрицанию Бога. Значение терминов «атеизм» и «скептицизм» было вне понимания его, во всех других отношениях чрезвычайно тонкого и развитого ума. Подобно некоторым богобоязненным христианам, он был неспособен понять, каким образом мудрые выводы науки можно предпочитать нелепому верованию в невидимый мир, населенный богами, демонами и разными духами. Он упорно утверждал, что человек – «духовное существо, которое возвращается на землю много раз, а в промежутках между смертью и новым рождением получает или награду, или наказание». Подобно Жерому Колье, он отказывался признать себя за ходячую машину или за говорящую голову без души, мысли которой подчинены законам движения. «Ибо, – убеждал он меня, – если бы мои действия были действительно предначертаны заранее, как вы говорите, и я был бы так же неспособен по своей воле изменять направление своих действий как течение вод вон той реки, тогда великое учение Кармы было бы действительно безумием».

Таким образом вся онтология моего ультраметафизического друга покоилась на шатком основании метемпсихоза, на каком-то воображаемом «справедливом» Законе Возмездия и тому подобных диких фантазиях.

– Мы не можем, – говорил он однажды, – наслаждаться после смерти полным сознанием, если при жизни не построили твердой основы духовности... Нет, не смейтесь, друг, лишенный веры, – просил он кротко, – лучше подумайте хорошенько об этом. Кто не научился жить в духе

во время своей сознательной и ответственной жизни на земле, едва ли способен на сознательное существование после смерти, когда, лишенный тела, он будет пребывать в области единого Духа.

– Что вы понимаете под жизнью в Духе? – спросил я.

– Жизнь в духовном мире, в том, который буддисты называют ДеваЛока (рай). Человек может подготовить себе такое блаженное существование в промежутках между двумя рожденьями, перенося постепенно на этот высший план бытия все способности, которые во время его земного существования проявляются через телесные его органы и, как вы это называете, через физический мозг...

– Какая нелепость! И как же человек может сделать это?

– Созерцание и сильное желание уподобиться благословенным богам дадут ему возможность достигнуть цели.

– А если человек откажется от этого интересного занятия, под которым вы, вероятно, подразумеваете устремление глаз на кончик своего носа, что станет с ним после смерти его тела? – задал я ему насмешливый вопрос.

– Это будет зависеть от преобладающего состояния его сознания, в котором различается несколько степеней; самое лучшее – немедленное новое рождение – в худшем случае – состояние *авичи*, душевный или субъективный ад. Но совсем не нужно быть аскетом, чтобы овладеть духовностью, которая длилась бы и в посмертном состоянии. Требуется лишь желание приблизиться к области Духа.

– Так, так! Даже и не веря? – спросил я.

– Даже и не веря! Возможно не верить и все же оставить место для сомнения, как бы мало оно ни было; и тогда может наступить минута, когда человек все же попытается приоткрыть дверь, ведущую во внутренний храм. И этого достаточно.

– Вы решительно поэтичны и в придачу парадоксальны до конца ногтей, высокочтимый сэр! Не будете ли вы так добры и не объясните ли мне немножко эту тайну?

– Тайны нет никакой, но я готов. Предположите на минуту, что какой-либо храм, в котором вы никогда не были и самое существование которого вы отрицаете, и есть тот «духовный план», о котором я говорю. Предположите, что кто-либо взял вас за руку и привел туда, а любопытство заставило вас открыть дверь и заглянуть внутрь. Этим простым действием, тем, что вы войдете туда на одну секунду, вы установите вечную связь между вашим сознанием и храмом. Вы не можете более отрицать его существования и не можете уничтожить того, что вы входили в храм. И смотря по тому, как вы себя чувствовали в святом месте, так вы будете жить в нем и после того, как ваше сознание покинет свою телесную обитель.

– Что вы подразумеваете под этим? И какое дело моему посмертному сознанию, если существует такая вещь, до вашего храма?

– Очень большое дело, – ответил торжественным тоном Тамоора. – После смерти не может быть самосознания *вне* храма Духа. Только то и переживает от нас, что соприкасалось с миром духовным. Все остальное исчезает и есть лишь – иллюзия. Всему этому суждено погибнуть в Океане Майи.

Находя идею проживания вне своего тела очень забавной, я просил своего старого друга продолжать. Не замечая моего насмешливого настроения, почтенный бонза охотно согласился.

Тамоора Хидейери принадлежал к большому храму, Тзи-Оненскому буддийскому монастырю, знаменитому не только по всей Японии, но и по всему Тибету и Китаю. Его монахи принадлежат к секте Дзено-доо, и их считают наиболее сведущими среди всех ученых братьев. Кроме того, существует тесная связь между ними и ямабуши (аскеты или пустынники), последователями учения Лао-цзы. Неудивительно после этого, что достаточно было с моей стороны легкого намека, чтобы Тамоора Хидейери вознесся на головокружительные

метафизические вершины, вероятно надеясь изменить мое неверие.

Бесполезно повторять хитросплетения этого безнадежно непонятного учения. По его словам выходило так, что мы должны упражняться в духовности еще на земле, вроде того, как упражняемся гимнастикой. Продолжая аналогию между храмом и «духовным планом», он пробовал иллюстрировать свою идею. Сам он работал в храме Духа две трети своей жизни и отдавал несколько часов в день «созерцанию». И потому он *познал*, что после освобождения из своей брэнной оболочки, – которая ничто иное, как «иллюзия», прибавил он, – он будет переживать в своем духовном сознании снова и снова каждое чувство благородной радости и высшего блаженства, которое он когда-либо переживал или *мог бы переживать* – только во сто раз сильнее.

Его работа на духовном плане была значительная, говорил он, и поэтому он надеялся, что и награда работнику будет соответствующая.

– Но предположите, что работник, как это было на вашем примере, относившемся ко мне, откроет дверь храма из простого любопытства, заглянет лишь на секунду в святилище и этим ограничится. Что тогда?

– Тогда, – ответил он, – у вашего будущего самосознания будет одна только эта минута, и больше – никакой. В нашей посмертной жизни вносятся и повторяются лишь те впечатления и чувства, которые принадлежат к духовным нашим переживаниям, и только они. Таким образом, если бы вы проникли в жилище Духа не с чувством благоговения, а питая в сердце своем гнев, зависть или печаль, в таком случае ваша будущая духовная жизнь была бы поистине печальна. Для вашего будущего не осталось бы ничего, кроме открывания двери в припадке дурного настроения.

– Как же бы это было? – спрашивал я, все более забавляясь. – Что же, по-вашему, я стал бы делать до нового воплощения?

– В таком случае, – сказал он медленно и как бы взвешивая каждое слово, – вам не осталось бы ничего иного, как открывать и закрывать двери храма снова и снова в течение периода, который, какова бы действительная продолжительность его ни была, для вас показался бы вечностью.

Этот род посмертного занятия показался мне в то время до того уморительным в своей величавой нелепости, что я разразился неудержимым припадком смеха.

Мой почтенный друг пришел, по-видимому, в большое смущение от такого результата своей метафизики. Но он не сказал ни слова, а только вздохнул и посмотрел на меня с усиленной нежностью и состраданием.

– Простите, пожалуйста, мой смех, – сказал я. – Но неужели вы серьезно уверяете, что так горячо проповедуемое вами «духовное состояние» состоит в обезьянничаньи того, что мы делаем на земле?

– Нет, нет, не обезьянничанье, а лишь заполнение тех пробелов, которые оставались незаполненными в течение жизни, лишь усиленное внедрение всего, совершенного нами в области духа. То, что я сказал, лишь иллюстрация, и для вас, совсем незнакомого с мистериями духовного зрения, вероятно это было очень непонятно. Вся вина на моей стороне... Мне хотелось выяснить вам, что духовное состояние нашего сознания, освобожденного из тела, есть лишь плод или результат всех духовных деятельности, имевших место в нашей земной жизни. Следовательно, если бы за всю жизнь совершилось лишь *одно* духовное действие, нельзя было бы и ожидать иных плодов, кроме повторения этого единственного действия. Вот и все. Буду молиться, чтобы вы были избавлены от такого бесплодного будущего и перестали бы отворачиваться от истины.

И затем, пройдя через все японские церемонии отбытия из гостей, превосходный человек

отправился домой.

Увы, если бы я знал тогда то, что узнал впоследствии, как бы далек я был от смеха!

Но в те времена, чем больше вырастала моя привязанность и мое уважение к нему, тем более раздражали меня его дикие идеи о посмертной жизни и, в особенности, о сверхъестественных силах, которыми, по его мнению, обладали некоторые люди. Чрезвычайно неприятно было для меня его почитание ямабуш. Их претензии на «чудотворения» были для меня в высшей степени ненавистны. Слышать от каждого знакомого япошки и даже от моего собственного компаньона, слывшего за необыкновенно проницательного делового человека, восхваления «великих и чудесных» даров у этих последователей Лао-цзы с вечно опущенными глазами и благочестиво сложенными руками – это было более, чем я мог вынести терпеливо в те дни. И кто были, о сущности, эти великие маги с их претензиями на сверхъестественные знания, эти «святые нищие», которые нарочно прячутся, как думал я тогда, в недоступных горах, чтобы никакой любопытный посетитель не мог разыскать их и выследить, что они делают в своих берлогах? Я не верил возражениям, которые делали мне, уверяя, что хотя ямабуши и ведут таинственную жизнь, не допуская к своим тайнам посторонних, они, при соблюдении многих условий, все же принимают учеников и, таким образом имеют живых свидетелей великой чистоты и святости своей жизни. На это я отвечал, что одинаково презираю как учеников, так и учителей, и отвожу их в одну категорию полоумных, если не мошенников; я доходил до того, что в ту же категорию включал и синтоистов. Синтоизм, или *син-суй*, «вера богов и в путь, ведущий к богам», то есть возможность общения между этими проблематическими существами и людьми, этот род поклонения духам природы казался мне особенно нелепым. Но подобные речи с моей стороны создали мне немало врагов. Ибо *синто-канузи*, духовные учителя, почитаются выше самых высших классов японского общества; сам Микадо находится во главе их иерархии, и наиболее культурные и воспитанные люди во всей Японии принадлежат также к этой секте. Эти «канузи» не составляют какой-либо отдельной касты и даже не проходят через какое-либо посвящение, по крайней мере насколько это известно посторонним; и так как они не пользуются никакими привилегиями и даже платье носят такое же, как и все, и только слышат среди мирян за учеников и учителей оккультных и духовных наук, – то я часто приходил с ними в соприкосновение, не имея ни малейшего понятия, что нахожусь в присутствии таких необычайных господ.

2. Таинственный посетитель

Прошли годы; но по мере того, как подвигалось время, мой неискоренимый скептицизм становился все упорнее. Я уже упоминал о своей горячо любимой сестре, единственной своей родственнице, оставшейся в живых. Она вышла замуж и поселилась в Нюрнберге.

Я относился к ней скорее с сыновними, чем с братскими чувствами, и ее дети были мне так же дороги, как если бы они были моими собственными детьми. В те тяжелые дни, когда отец наш потерял все свое состояние, а мать не выдержала удара, эта старшая, кроткая сестра моя стала истинным ангелом-хранителем разоренной семьи. Во имя любви ко мне, желая заманить мне учителей, которых мы не могли оплачивать, она отказалась от личного счастья. И как же я любил и почитал ее! И как бессильно было время разорвать эту нежную связь! Тот, кто утверждает, что атеист не может быть самоотверженным другом, любящим семьянином, произносит величайшую клевету и ложь.

Могут быть исключительные случаи, но это относится не столько к скептикам, сколько к эгоистам, но когда человек от природы добрый становится неверующим из любви к истине, он только сильнее чувствует свои семейные узы и свои симпатии к людям. Все его чувства, все его пламенные стремления к невидимому и недостижимому, вся любовь, которую он иначе направил бы на проблематические небеса и на обитающего там бога, сосредоточиваются с удесятенной силой на любимых существах и на человечестве. Я утверждаю, что только сердце атеиста:

Может познать, какие неведомые приливы
Безмолвных радостей заливают его,
Когда братья любят друг друга...

Именно такая святая братская любовь привела меня к тому, что я с радостью пожертвовал своим собственным комфортом и личными радостями, чтобы обеспечить счастье той, которая была для меня более, чем мать. Я был совсем молодым, когда покинул дом и отправился в Гамбург; работая с углубленной серьезностью человека, имеющего пред собой благородную цель осчастливить тех, кого он любит, я скоро добился доверия своих патронов, и они вверили мне ответственный пост, который я занимаю и по сие время. Первою истинною радостью моей жизни было содействие браку моей сестры с тем человеком, которым она пожертвовала ради меня. Я был счастлив, что мог помогать им, и так бескорыстна была моя любовь к ней, что когда у нее появились дети, мое чувство еще более усилилось, и все привязанности моего сердца сосредоточивались на одной ее семье. Для моего сердца привязанность эта была единственной святыней, единственной церковью, где я поклонялся перед алтарем священных семейных уз. Дважды в течение девяти лет я переплывал океан с единственной целью увидеть и прижать к сердцу сестру и дорогих ее детей. У меня не было других связей с западом, и каждый раз, повидавшись с ними, я возвращался в Японию, чтобы работать для них. Из любви к ним я остался холостяком, чтобы все плоды моих трудов могли перейти к ним безраздельно.

Мы переписывались с сестрой так часто, как то позволяло медленное движение почтовых кораблей. Но вдруг настал долгий перерыв, и я почти целый год не получал известий из дома; с каждым днем мое беспокойство росло все более и более, начал терзаться предчувствием великой беды.

– Друг, – сказал мне однажды Тамоора Хидейери, единственный человек, которому я

вполне доверял, – друг, посоветуйтесь со святым ямабуши, и вы найдете успокоение.

Нечего говорить, что предложение его было отвергнуто с негодованием. Но по мере того, как пароход за пароходом приходил без единой вести, я почувствовал отчаяние, которое ежедневно увеличивалось. Под конец оно перешло в такое непреодолимое стремление узнать правду, какова бы она ни была, что я был побежден. Прежде я гордился своим полным самообладанием – теперь я стал презренным рабом страха. Фаталист из школы Гольдбаха, убежденный, что строгий закон необходимости – единственное условие для невозмутимого спокойствия философа, я ловил себя на желании прибегнуть к чему-то вроде гадания. Я дошел до того, что начинал забывать важнейший принцип моего вероисповедания, который можно было выразить в двух словах: *все совершается по необходимости*; да, я готов был все забыть, чтобы узнать во что бы то ни стало судьбу моих близких; и до того изменился весь мой внутренний мир, что я жаждал, подобно слабой, нервной девушке, сделать попытку и заглянуть – в такую нелепость верят некоторые безумцы – по ту сторону земного шара, чтобы узнать наконец, чем вызвано это необъяснимое молчание!

Однажды вечером, перед закатом солнца, мой старый друг, почтенный бонза Тамоора, появился на веранде моего дома. Я долго не был у него, и он пришел узнать о моем здоровье. Я воспользовался его приходом, чтобы задеть его, и задал ему вопрос: почему берет он на себя труд приходиться ко мне пешком, когда он легко мог бы узнать обо мне все, что его интересует, спросив о том своего ямабуши? Вначале он как будто огорчился, но, взглянув пристально на мое измученное лицо, он кротко заметил, что продолжает настаивать на своем прежнем совете: лишь член этого братства может принести мне утешение в переживаемом мною испытании.

С этой минуты безумное желание овладело мною, и я решил проверить его обещание. Я сказал ему, что предлагаю его прославленным магам назвать ему имя той личности, о которой я думаю, и открыть мне, что делает она в данный момент. Он спокойно ответил, что удовлетворить мое желание совсем не трудно. В двух шагах от моего дома, у больного синто находится ямабуши, и если я скажу одно только слово, он пойдет и приведет его ко мне. Я сказал это слово, *и как только я произнес его, судьба моя была решена*. Через двадцать минут старый японец, необычайно высокий и величественный для этой расы, бледный, тонкий и изможденный, стоял передо мной. Вместо подобострастной угодливости, которую я ожидал, я увидел спокойствие, полное достоинства, выражение нравственного превосходства и полное равнодушие к тому, что могут о нем подумать. На вопросы, и насмешливые, и неуважительные, которые я с лихорадочной поспешностью ставил ему один за другим, он не дал никакого ответа, но смотрел на меня в молчании так, как смотрит врач на больного в бреду. В момент, когда он устремил свой взгляд на меня, я почувствовал или, скорее, увидел, как яркий луч света, как бы тонкая серебряная нить устремилась из глубины его черных, глубоко запавших глаз и как бы проникла в самый мозг и мое сердце, подобно острой стреле. Да, я и видел, и чувствовал это, и скоро это двойное ощущение стало невыносимо.

Чтобы прекратить мучительное молчание, я спросил его, что нашел он в моих мыслях. На это последовал спокойный и совершенно верный ответ: чрезвычайное беспокойство за родственницу, ее мужа и детей, которые живут далеко в доме, описание которого последовало с такими верными подробностями, как будто он знал этот дом так же, как и я сам. Услышав этот ответ, я подозрительно посмотрел на моего друга бонзу; но, вспомнив, что Тамоора не мог знать дома моей сестры и что японцы славятся своей «верностью до могилы», я устыдился своего подозрения. После этого я спросил отшельника, не может ли он мне сообщить, что делает в настоящую минуту моя сестра.

– Чужеземец, – последовал ответ, – никогда не поверит словам и знаниям кого бы то ни было, кроме самого себя. Если он услышит истину, впечатление продлится недолго и им

овладеет по-прежнему мучительное беспокойство. Остается только одно средство: заставить чужеземца (то есть меня) видеть собственными глазами и таким образом узнать истину самому. Согласен ли чужеземец довериться мне, чтобы я мог привести его в надлежащее состояние?

Я слышал в Европе о сомнамбулах и о претендующих на ясновидение и, не имея никакой веры в них, не мог ничего иметь и против самого процесса, в действительность которого не верил. Несмотря на всю переживаемую агонию, я все же не мог удержаться от улыбки при мысли о забавной операции, через которую должен буду сейчас пройти, и я молча склонил голову в знак согласия.

3. Психическая магия

Старый ямабуши не терял времени. Он смотрел на заходящее солнце и, находя, вероятно, что Господь Тен-Дзио-Даи-Дзио (Дух, выбрасывающий свои лучи) благоприветствует предстоящей церемонии, он быстро вынул из небольшого пакета маленький лакированный ящик, кусок растительной бумаги, изготовленной из коры тутового дерева, и перо, которым он набросал на упомянутой бумаге несколько изречений особыми знаками, *наидин*, употребляющимися лишь для религиозных и мистических целей. Окончив это, он вынул из складок своих одежд маленькое круглое зеркало из стали, необычайного блеска, и, держа его перед моими глазами, предложил мне смотреть в него.

Я не только слышал ранее о таких зеркалах, часто употребляющихся в храмах, но даже нередко и видел их. Существует верование, что по воле знающих священников в них появляются *даидж-дзин*, духи, показывающие правоверным их будущую судьбу. И я в первую минуту подумал, что он намеревается вызвать такого духа, чтобы он отвечал на мои вопросы. На деле же произошло нечто совершенно иное.

Только что я успел с чувством неловкости, вызванным ясным сознанием нелепости моего положения, притронуться к зеркалу, как почувствовал странное ощущение в той руке, которая держала его. На короткое время я забыл свой сарказм и перестал смотреть на дело с комической точки зрения. Был ли это страх, который внезапно впился в мой мозг, на минуту парализуя его деятельность? Нет, ибо я еще сохранял свое сознание настолько, что не ожидал ничего от эксперимента, который противоречил всем моим здравым понятиям. Что же это было, что проползло по моему мозгу, леденя его и вызывая в нем ощущение ужаса, а затем проникло в мое сердце, словно ядовитая змея вонзила в него свое жало? Конвульсивным движением руки я выпустил магическое зеркало и не мог принудить себя поднять его с дивана, на котором я сидел. В течение одного короткого мига произошла страшная борьба между непонятной для меня жадной взглянуть в глубину полированной поверхности зеркала и моей гордостью, которую, казалось, ничто не могло укротить. Около меня на лакированном столике лежала открытая книга; взглянув случайно на развернутую страницу, я прочел слова: «Покров, скрывающий будущее, соткан руками милосердия». Этого было достаточно. Та же самая гордость, которая удерживала меня от унижительного эксперимента, бросила вызов моей судьбе. Я поднял нестерпимо блестящий диск и приготовился смотреть в него.

Пока я рассматривал зеркало, ямабуши быстро сказал несколько слов бонзе Тамооре, что заставило меня бросить на обоих подозрительный взгляд. Но я еще раз ошибся.

– Святой человек желает поставить вам один вопрос и в то же время предупредить вас, – сказал бонза. – Если вы хотите смотреть сами, вы должны подвергнуться процессу очищения после того, как увидите в зеркале все, что желаете знать; *иначе вы останетесь ясновидящим навсегда и будете видеть на всяком расстоянии вопреки желанию и против воли своей.*

– Что это за очищение и что должен я обещать? – спросил я с недоверием.

– Это делается для вашего же блага. Вы должны обещать подчиниться и сделать все, что он скажет вам, иначе на него ляжет ответственность, что он сделал из вас *бессознательного ясновидца*. Ведь вы согласитесь, дорогой друг?

– Впереди еще много времени, чтобы подумать об этом, если я увижу что-нибудь, – ответил я с насмешкой и прибавил про себя: «в чем я сильно сомневаюсь до сих пор».

– Хорошо, друг, вы предупреждены, последствия падут на вас самих, – был торжественный ответ.

Я взглянул на часы с жестом нетерпения, который был замечен ямабуши. Было ровно *семь*

минут шестого.

– Определите ясно в своем уме, что вы желали бы видеть и узнать, – сказал «заклинатель», положив зеркало и бумагу в мои руки и объяснив, как следовало обращаться с ними.

Выслушав его и устремив взгляд на зеркало, я сказал:

– *Я желаю лишь одного – узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала писать ко мне...*

Действительно ли я произнес эти слова перед двумя свидетелями, или подумал их – я и до сих пор не могу решить. Помню ясно только одно; в то время как я смотрел в зеркало, ямабуши смотрел на меня. Но определить, как долго длилось это: одну секунду или несколько часов – я не могу. Я помню все с малейшими подробностями до того момента, как взял зеркало в левую руку, а бумагу, исписанную мистическими знаками, между большим и указательным пальцем правой руки; с этого момента я, по-видимому, потерял сознание всего окружающего. Переход этот в совершенно новое для меня состояние совершился так быстро, что я потерял из виду все внешние предметы, и бонзу, и ямабуши, и комнату в тот момент, когда увидел себя наклоненным вперед с зеркалом в руке. Затем появилось сильное ощущение непроизвольного стремления вперед, как бы скачка со своего места – я бы даже сказал, из своего тела. А потом мои глаза, как мне показалось тогда – все остальные мои чувства были вполне парализованы – увидели яснее и живее, чем когда-либо в действительности, нюрнбергский дом моей сестры, который я сам никогда не видал и знал только по рисункам. И вместе с тем, ощущая как бы вспышки уходящего сознания – умирающие должны испытывать нечто подобное – я различил последнюю мысль, слабую и едва уловимую, о том, какой смешной у меня должен быть вид...

Это ощущение – ибо это было скорее ощущение, чем мысль – было внезапно погашено духовным видением (я не могу назвать этого иначе) меня самого, того, что я знал, как свое тело, лежащим со свинцово-бледным лицом на кушетке, мертвым по всем признакам, но продолжающим тарачить стеклянные глаза мертвеца в зеркало. Наклоненный над ним, разбивающий по всем направлениям своими худыми руками воздух над его бледным лицом, стоял высокий ямабуши, к которому я чувствовал в тот момент нестерпимую, смертельную ненависть. А когда я рванулся в мыслях, устремляясь на гадкого шарлатана, мой труп, оба старика, и самая комната, и все предметы в ней задрожали и затанцевали в красновато-пламенном свете и быстро понеслись куда-то от «меня». Еще несколько искаженных чудовищных теней перед «моим» взором, и, вместе с последним ощущением ужаса и высочайшего напряжения, чтобы понять, кто же был я, если я не был тот труп – густой покров мрака упал на меня и погасил последнюю искру моего сознания.

4. Видение ужаса

Как странно!.. Где же был я теперь? Было ясно, что ко мне снова вернулось сознание. Ибо я несомненно существовал и быстро подвигался вперед, но как-то необычайно, как будто я плыл без всякого импульса и усилия с моей стороны и притом – в полнейшей темноте. Первая моя мысль была о длинном подземном переходе среди воды, земли и спертого воздуха, хотя телесно я не испытывал ни малейшего соприкосновения с которой-нибудь из этих стихий. Я пробовал произнести несколько слов, повторить мою последнюю фразу: «*Я желаю лишь одного – узнать причину, почему моя сестра так внезапно перестала писать ко мне*». Но из всех пятнадцати слов я услышал только одно: «*узнать*», – и даже оно исходило вовсе не из моего горла, и хотя прозвучало звуком моего собственного голоса, но совершенно вне меня, вблизи, но не во мне. Короче, слова были произнесены *моим* голосом, но *не моими* губами...

Еще одно быстрое непроизвольное движение, еще одно погружение в темноту, и я увидел себя – стоящим – под землю, как мне казалось. Я был плотно окружен со всех сторон – сверху и снизу, справа и слева – землю, и, тем не менее, она не имела веса и казалась нематериальной и прозрачной для *моих чувств*. Но я тогда совершенно не сознавал полную нелепость, более того, невозможность этого *кажущегося* факта! Еще одна секунда, и я увидел... рассказываю об этом теперь с невыразимым ужасом, но тогда – несмотря на необычайную обостренность всех ощущений – я оставался совершенно равнодушным к тому, что увидел перед собой.

Да, я увидел гроб у моих ног. Это был простой, непритязательный ящик, последнее ложе нищего, и в нем – сквозь закрытую крышку – я ясно различал страшно ослабленную голову и человеческий скелет, раздробленный во многих местах, словно его извлекли из какой-нибудь секретной комнаты блаженной памяти инквизиции, где его подвергали страшным пыткам. «Кто это может быть?» – подумал я.

В эту минуту я опять услышал, как издалека доносился мой собственный голос... «*Причину, почему...*» – произнес он, словно эти слова были непрерывавшимся продолжением той самой фразы, из которой он только что произнес одно слово «*узнать*».

Он звучал близко и в то же время как бы из невообразимой дали, производя впечатление, что все долгое подземное путешествие и все последовательные размышления и открытия совсем не заняли времени; что все они произошли в течение мгновительного промежутка между первым и средними словами фразы, начатой в моей комнате в Киото – и которую голос продолжал произносить в оторванных изречениях, подобно верному эхо моих собственных слов...

Вслед за тем чудовищные останки начали принимать знакомую мне форму. Раздробленные части соединились вместе, кости снова оделись телесным покровом, и я узнал с некоторым удивлением, но без малейшей тени чувства – мужа моей сестры, которого я во имя ее так горячо любил! «Почему умер он такую страшную смертью?» – спросил я себя. Едва я поставил этот вопрос, как словно в панораме развернулась передо мной вся картина смерти бедного Карла со всею ужасающею живостью и со всеми потрясающими подробностями, которые тогда оставляли меня совершенно равнодушным. Вот он, старый дорогой друг, полный жизни и радости, только что получивший значительное повышение по службе, рассматривает и пробует на лесопильном заводе огромную паровую машину, только что прибывшую из Америки. Он наклонился над ней, рассматривая что-то внутри и словно желая закрепить одну из гаек. Его платье схватывается зубьями вращающегося на полном ходу колеса и внезапно – весь он втянут, разорван пополам, и его отделившиеся члены выброшены вон прежде, чем незнакомые с механизмом рабочие смогли остановить колесо. Его вынимают, то есть то, что осталось от него, ужасную, неузнаваемую массу еще трепещущего окровавленного тела... Я следую за этими останками, которые везут в

госпиталь, слышу грубо отдаваемое приказание, чтобы вестники смерти остановились по дороге у дома вдовы и сирот. Я вхожу за ними в дом и вижу ничего не подозревающую семью, спокойно занятую своими делами. Я узнаю мою сестру, дорогую, любимую, и остаюсь совершенно равнодушным, хотя и сильно заинтересованным предстоящей сценой. Мое сердце, мои чувства, вся моя личность – казалось – исчезли, остались где-то позади, принадлежали кому-то другому.

Там стоял «я», присутствуя, как передавалась страшная новость. Я вижу ясно влияние удара на нее, я наблюдаю до мельчайших подробностей все ее ощущения и внутренний процесс, происходящий в ней. Я наблюдаю и запоминаю, не пропуская ничего.

Когда труп был внесен в дом, я услышал долгий крик агонии, затем мое собственное имя, и – глухой звук живого тела, упавшего на останки Мертвеца. С любопытством следил я, как ее начала потрясать сильная дрожь, как за дрожью последовало моментальное сотрясение в мозгу, я внимательно наблюдал червеобразное, страшно напряженное движение всех фибр, моментальную перемену цвета в оконечностях головной нервной системы, как нервное вещество волокон изменяло свой белый цвет в красноватый, который быстро переходил в темно-красный, а затем – в синеватый оттенок. Я заметил внезапную вспышку фосфорического яркого сияния, как оно затрепетало и внезапно погасло, после чего наступила темнота – полнейший мрак в области памяти... как сияние, сравнимое по форме лишь с очертаниями человека, выделилось внезапно из верхней части головы, расширилось, потеряло свою форму и рассеялось в пространстве. И я сказал себе: «Это – сумасшествие, неизлечимое пожизненное сумасшествие, ибо начало разума не парализовано и угасло не на время, а совсем покинуло свою обитель, выброшенное из него ужасающей силой внезапного удара... Связь между животной и божественной сущностью порвана...» И когда необычайное слово «божественной» было произнесено, моя «мысль» засмеялась.

Внезапно я снова услышал мой голос, отдаленный и все же близкий, произносивший совсем около меня: «почему моя сестра так внезапно перестала писать...» И прежде, чем последние слова «ко мне» успели закончить всю фразу, я увидел целый ряд тяжелых событий, последовавших за катастрофой.

Я увидел мать, беспомощную, что-то бормочущую идиотку, помещенную в сумасшедшем отделении городского госпиталя, и семерых детей в приюте для бедных, затем увидел двух старших – мальчика пятнадцати лет и девочку годом моложе, моих любимцев, обоих в услужении у чужих людей. Капитан парусного судна взял моего племянника, а племянницу забрала старая еврейка. Я смотрел на все эти события, со всеми сердцераздирающими подробностями, и запоминал их с отчетливостью и полным хладнокровием. Ибо, запомните хорошенько: когда я употребляю выражение «сердцераздирающие» и другие в этом роде, это относится к позднейшим моим переживаниям. Во время же описанных наблюдений я не испытывал ни малейшего горя, ни малейшей жалости. Все мои чувства были парализованы так же, как и внешние органы; и лишь по «возвращении назад» в тело начинал я сознавать все свои вознаградимые потери.

Все, что я ранее так энергично отрицал, приходилось переживать в те дни личным горьким опытом. Если бы мне кто-нибудь сказал прежде, что человек способен действовать и сознавать независимо от своего мозга и от своих органов чувств; что какой-то таинственной силой он может быть перенесен в бесплотном виде за тысячи верст от своего тела, чтобы присутствовать при событиях не только совершающихся, но и прошедших, и задерживать их каким-то непонятным способом в своей памяти – я назвал бы такого человека сумасшедшим. Но увы, это время прошло, ибо я сам стал таким «сумасшедшим». Десять, двадцать, сто раз во время моей проклятием отмеченной жизни испытал я подобное существование *вне своего тела*. И я даже не могу приписать этого временному помешательству: сумасшедшие видят несуществующее, а мои

видения оказывались неизменно верными. Но вернемся к моей повести страдания. Последним моим впечатлением была горькая судьба моей любимой племянницы, а затем я почувствовал такое же сотрясение, после которого я поплыл внутрь земли, как мне казалось тогда. Я открыл глаза в моей собственной комнате, и первое, на что упал мой взгляд, были настенные часы. Их стрелки показывали *семь с половиной минут шестого!*. Таким образом я прошел через все эти ужасающие испытания, на описание которых потребовалось несколько часов, *ровно в полминуты!* Но это сознание появилось позднее. В первый миг я не помнил ничего, и то первое мгновение, когда я взглянул на часы, принимая зеркало из рук ямабуши, слилось для меня с этим вторым мгновением. Я только что открыл рот, чтобы поторопить ямабуши, как вдруг воспоминание обо всем виденном осветило мой мозг. Испустив крик ужаса и отчаяния, я почувствовал, словно весь мир опрокинулся на меня и придавил меня своей тяжестью. Мое сердце заныло от нестерпимой боли; судьба моя была решена, и безнадежный мрак опустился навсегда на остаток моей жизни!

5. Возврат сомнений

Затем наступила реакция столь же неожиданная, как и порыв отчаяния. Во мне возникло сомнение, которое постепенно разрослось в гневное желание отрицать все, что я только что видел. Упорная решимость видеть во всем происшествии бессмысленный сон, последствие моего чрезмерного напряжения, овладело мною.

Да, все это было лживое видение, идиотическое нагромождение моих собственных ощущений, внушивших мне картины смерти и несчастий под влиянием многих недель неизвестности и нравственной подавленности.

– Как мог я увидеть все это менее чем в полминуты времени?.. – воскликнул я. – Теория сновидений, быстрая смена событий во сне, вызванная возбужденным состоянием ганглий мозговых полушарий, достаточно объясняет длинный ряд событий в моем видении. Только во сне могут до такой степени уничтожаться соотношения между временем и пространством. Ямабуши не при чем в этом неприятном кошмаре. Какой-нибудь дьявольской смесью, секрет которой известен этим людям, он вызвал у меня бессознательное состояние, во время которого я и увидел все эти лживые и ужасные видения. Я изгоню все эти наваждения, я не верю в них! Через несколько дней придет пароход, отправляющийся в Европу, и я поеду с ним!

Этот бессвязный монолог был произнесен в присутствии моего друга Тамоора и ямабуши. Последний продолжал стоять в прежней позе и смотрел на меня, вернее сказать – *через* меня, со спокойным и молчаливым достоинством. Тамоора, доброе лицо которого светилось состраданием, приблизился ко мне и со слезами на глазах сказал:

– Друг, вы не должны уезжать, не очистившись от соприкосновения с низшими даидж-дзин (духами), которые направляли вашу неопытную душу туда, куда она стремилась. Сношение с нашим внутренним Я должно быть закрыто от их опасных вторжений. Не теряйте времени, сын мой, и допустите святого Учителя очистить вас немедленно.

Но гнев делает человека глухим, и, вместо всякого ответа, я начал с негодованием протестовать: как мог он подумать, что я могу поверить в действительность своих видений и смотреть на него, ямабуши, иначе, как на простого обманщика.

– Я уеду завтра, даже если бы мне это стоило всего моего состояния! – воскликнул я, бледнея от ярости и отчаяния.

– Вы будете раскаиваться в этом всю жизнь, если не дадите святому Учителю оградить вас от вторжения даидж-дзин, – сказал он с кроткой настойчивостью.

Я прервал его грубым смехом и спросил, какую плату ожидает от меня его ямабуши за свой эксперимент?

– Он не нуждается ни в чем, – ответил Тамоора. – Орден, к которому он принадлежит, богатейший в мире, так как его члены выше всех земных желаний и помыслов. Не оскорбляйте того, кто пришел к вам из чистого сострадания, желая облегчить ваши мучения.

Но я неспособен был внимать его мудрым словам, так овладел мною мятежный дух гордости. К счастью для меня, обернувшись с намерением выгнать монаха, я увидел, что его уже не было в комнате.

Я не слышал, чтобы он двинулся, и приписал, его внезапный уход страху быть избалованным. Безумец, слепой самонадеянный идиот!

Я не захотел поверить, что покой всей моей жизни уходит вместе с ним навсегда... тупое, угрюмое недоверие, упрямое отрицание свидетельства моих же собственных чувств и твердое решение видеть во всем случившемся результат расстроенного воображения овладело всем моим существом.

«Мой ум, рассуждал я, что представляет он из себя? Неужели я поверю, вместе с суеверными и слабыми, что этот продукт фосфора и серого вещества есть в самом деле высшая часть меня и может видеть независимо от моих физических чувств? Никогда! я считаю за личное оскорбление, за поругание разума человеческого говорить о каких-то невидимых существах, о каких-то „даидж-дзинах“ и всякого рода нелепых суевериях. И я просил своего друга бонзу избавить меня от его непрошенных советов. Так бесновался я перед кротким японцем, делая все, что зависело от меня, чтобы оттолкнуть его, но его удивительная кротость оказалась сильнее моего идиотического гнева, и он продолжал умолять меня, ради блага всей моей жизни, подвергнуться необходимому очистительному обряду.

– Никогда! Лучше пребывать в пространстве, из которого даже самый воздух выкачан здоровым недоверием, чем оставаться в густых туманах глупого суеверия, – отвечал я на его мольбы, перефразируя изречение Рихтера.

– Чужеземный друг! – воскликнул Тамоора. – Я буду молиться, чтобы вам не пришлось раскаяться в вашем упорстве; пусть же Куан-Он (богиня милосердия) оградит вас от дзинов! Ибо святой ямабуши бессилен защитить вас от дурных влияний, вызванных вашим неверием и гневом, раз вы отказываетесь подвергнуться очищению от его руки. Но позвольте в час разлуки мне, старому человеку, желающему вам добра, еще раз предупредить вас. Могу я говорить?

Несмотря на мое нелюбезное возражение, что я не выношу его ненавистных суеверий, он начал так:

– Преклоните ваше ухо, дорогой друг, в последний раз и узнайте, что ваша будущая жизнь станет невыносимой, если вы не послушаетесь меня. Дайте тому, кто открыл ваше «духовное зрение», докончить дело и оградить вас от постоянного повторения тяжелых видений. Если вы не согласитесь свободной волей, вы останетесь во власти *Сил*, которые будут мучить и преследовать вас до пределов безумия. Знайте, что развитие «Дальнего зрения» (ясновидения), которым владеют *по своей воле* лишь немногие избранные, от которых великая Куан-Он не имеет тайн, – для начинающих совершается с помощью дзинов (элементалей), которые лишены души, следовательно и жалости. Узнайте также, что лишь архаты, «победители врага», сделавшие из этих существ своих слуг, в безопасности от них; тот же, кто не овладел ими, становится их рабом. Нет, не смейтесь в вашей гордости и неведении, но слушайте дальше. Во время видений даидж-дзин овладевает ясновидцем, если он, как вы – неопытный новичок, и держит его в своей власти; и в это время ясновидец перестает быть *самим собою*. Он разделяет природу своего «руководителя». Даидж-дзин, направляющий его внутреннее зрение, держит его душу в позорном плену, делая из него, пока ясновидение длится, существо, подобное себе. Лишенный божественного света, человек становится бездушным существом; поэтому, оставаясь в соприкосновении с даидж-дзином, он лишается всех человеческих чувств, не испытывает ни жалости, ни страха, ни любви, ни сострадания.

– Стой! – воскликнул я невольно, когда его слова вызвали во мне воспоминание о равнодушии при виде отчаяния моей сестры. – Стой!.. но нет, безумием было бы обращать внимание и делать выводы из ваших диких речей... но если вы все это считаете таким опасным, почему посоветовали вы мне позвать вашего ямабуши? – прибавил я насмешливо.

– Потому что не было бы никакого зла, если бы вы одержали обещание и подвергли себя очищению, – последовал грустный и смиренный ответ. – Я желал вам добра, друг, и сердце мое истекало кровью, видя, как вы страдаете день за днем. Сделанное над вами совершенно безвредно, если это делается знающим, и становится опасным только в том случае, если последующие предосторожности не выполнены. Тот же учитель «ясновидения», который раскрыл вход в вашу душу, должен и закрыть его, налагая Печать Очищения в защиту от дальнейших вторжений...

– Учитель ясновидения! как бы не так! – грубо прервал я его. – Скажите лучше – учитель мошенничества!

Страдальческий взгляд на его добром старом лице был до того мучителен, что я понял наконец, как далеко я зашел, но было уже поздно.

– В таком случае – прощайте, – сказал бонза, поднимаясь.

И совершив в молчании, полном достоинства, все церемонии вежливости, Тамоора покинул мой дом.

6. Я отправляюсь – но не один

Через несколько дней я отплыл в дальний путь, но не видал более своего друга бонзу. Очевидно, в тот незабвенный для меня вечер он был серьезно оскорблен моим дерзким отношением к тому, кого он так глубоко чтит. Меня это огорчало, но колесо страстей и гордости вращалось с такою силою в моей душе, что не допускало и минуты раскаяния, а между тем не прошло и недели, как я должен был вспомнить все его предостережения.

Со дня моего опыта с магическим зеркалом я заметил большую перемену во всем своем состоянии, но вначале я приписывал ее душевному угнетению, которое давило меня столько месяцев кряду. Днем я очень часто ловил себя на том, что теряю временно из виду все окружающие предметы, в том числе и ехавших со мной людей. Ночи я проводил чрезвычайно тревожно. Мои сны были тягостны, а по временам и ужасны. Я всегда переносил очень хорошо морские поездки; кроме того, погода была превосходная и океан спокоен как озеро, и, несмотря на это, я часто испытывал странные головокружения; в такие минуты знакомые мне лица пассажиров принимали самые фантастические очертания. Так, один молодой немец, с которым я был и ранее хорошо знаком, преобразился передо мной в своего старого отца, которого мы вместе с ним похоронили на маленьком европейском кладбище Киото три года перед тем. Мы разговаривали с ним на палубе о покойном и об одном из его деловых распоряжений, как вдруг голова Макса Грюнера покрылась какой-то странной пленкой; густой, серый туман окружил его и, все более сгущаясь вокруг его здорового лица, преобразился вдруг в страшную мертвую голову его отца, которую я сам видел опущенной в могилу на глубину шести футов под землей. В другой раз, когда капитан говорил об одном воре из малайцев, которого он помог запереть в тюрьму, я увидел рядом с ним гнусное лицо, вполне отвечавшее его описанию. Я никому не говорил о своих галлюцинациях; но по мере того, как они все более учащались, я сильно встревожился, хотя продолжал приписывать их естественным причинам, о которых читал в медицинских книгах. Однажды ночью я был внезапно разбужен громким криком отчаяния. Это был женский голос, выражавший ужас и словно призывавший на помощь. Проснувшись, я очутился на земле в странной незнакомой мне комнате. И я увидел страшную картину насилия. У запертой двери притаилась старая женщина, которую я немедленно узнал: это было лицо еврейки, взявшей к себе мою племянницу в сновидении, которое так потрясло меня в Киото. Она очевидно сторожила, принимая деятельное участие в подлом преступлении, но кто же была жертва? О ужас, невыразимый словами! Когда, придя в нормальное состояние, я постиг все виденное, я понял, что то была моя собственная девочка-племянница...

Но, как и в первом моем видении, я не испытывал никакой боли, которую чувствуешь при виде страдания любимых и близких людей; лишь одно мужское негодование против гадкого насилия. Я бросился на негодея, схватил его с могучей силой, но он, по-видимому, даже и не замечал моего присутствия. Тогда я удвоил усилия, бросился на него и начал душить его. Только тут я заметил в первый раз, что и сам я – тень, и схваченный мною человек – такая же тень...

Мои громкие крики и проклятия разбудили весь пароход. Их приписали кошмару, и я никому не рассказывал своих переживаний; но, начиная с этого дня, моя жизнь превратилась в сплошную нравственную пытку. Едва я закрывал глаза, как делался свидетелем какого-нибудь ужасного дела, какой-нибудь сцены страдания, смерти или преступления; то в прошлом, то в настоящем, а иногда и в будущем, как я убедился позднее. Словно какой-то издевающийся враг взял на себя задачу показывать мне все злобное, звериное, безнадежное, что творится в этом мире бедствий. Ни единый луч красоты или добра не освещал этих картин страдания и преступления, при которых я был осужден присутствовать. Сцены убийства, измены и разврата

проходили постоянно перед моим внутренним взором, и я должен был смотреть на самые низкие проявления человеческих страстей.

Неужели же Тамоора предвидел все мои тяжкие переживания, когда говорил о даидж-дзин, для которых я оставил «вход», «открытую дверь» внутри себя? Вздор! Наверное какое-нибудь физиологическое ненормальное состояние. Как только я приеду в Нюрнберг и успокоюсь относительно своих, все эти видения исчезнут сами собою. Самый факт, что мое воображение работает в *одном* направлении, рисуя постоянно картины страдания и худших человеческих страстей, доказывает их нереальность.

«Если, как вы говорите, человек состоит только из одной материи, доступной физическим чувствам, и если все виды сознания лишь результат молекулярного движения мозга, в таком случае нас должно бы привлекать одно материальное, земное...» Мне казалось, что я слышу знакомый голос бонзы Тамоора, прервавшего мои размышления и повторяющего один из своих обычных аргументов в спорах со мной.

«Человек видит на двух планах, – снова услышал я его голос. – На плане бессмертной любви и духовных стремлений, исходящих из вечного Света; и на плане тревожной, вечно меняющейся материи, в излучениях которой купаются вводящие в заблуждение даидж-дзины».

7. Вечность в одном коротком сновидении

В тот период своей жизни я не допускал даже на минуту нелепой веры в каких бы то ни было духов, как добрых, так и злых. Теперь я понял, что такое подразумевается под этим термином, хотя и продолжал надеяться, что все это окажется в конце концов физическим расстройством или нервной галлюцинацией. Чтобы укрепить еще более свое неверие, я старался припомнить все аргументы, когда-либо слышанные мною, направленные против подобного суеверия. Я припоминал едкие сарказмы Вольтера, спокойные рассуждения Юма и повторял до тошноты слова Руссо, сказавшего, что против суеверия, этого «разрушителя общества», мы обязаны бороться изо всех сил.

Однажды старый капитан рассказывал нам различные суеверия, распространенные между моряками; величественный английский миссионер заметил, что Филдинг давно уже высказал, до какой степени суеверие «делает человека глупцом», после чего он поколебался на мгновение и внезапно замолчал. Я смотрел на почтенного миссионера; когда он произносил эту цитату, я увидел в окружающей его вибрирующей ауре, которую я начал видеть почти постоянно вокруг всех людей, продолжение Фильдинговой цитаты: «а скептицизм делает его умалишенным». Я слышал не раз от людей, претендующих на ясновидение, что они видят мысли людей, отпечатленные на их ауре. Теперь у меня был личный опыт, подтверждающий их претензию, и открытие это было для меня чрезвычайно тягостно. Я – *ясновидящий!* Новая тяжесть придавила мою жизнь, прибавился нелепый и смешной дар, который я должен скрывать от всех, стыдясь его как проказы. В эти минуты моя ненависть к ямабуши не знала пределов: ведь это он своими манипуляциями, в то время как я лежал без сознания, затронул какую-нибудь неизвестную пружину в моем мозгу и, растянув ее, вызвал способность, обыкновенно скрытую в человеческой организации!

Но и гнев мой, и мои проклятия были одинаково бесцельны. К тому же, мы уже подходили к европейским морям и через несколько дней должны были высадиться в Гамбурге. И тогда все мои сомнения придут к концу и я докажу, что хотя ясновидение, в смысле чтения мыслей на ближайшем расстоянии, и имеет за собой нечто действительное, но возможность узнавать на далеком расстоянии прошедшие события, как в моих сновидениях, вещь совершенно невозможная для человеческих способностей. И что же? Несмотря на все эти рассуждения, сердце мое отчаянно болело и было полно самых мрачных предчувствий: я чувствовал, что приближается нечто роковое.

Накануне прибытия в порт я видел сон: я видел себя мертвым; мое тело лежало холодное и окоченелое, а умирающее сознание готовилось через несколько мгновений погаснуть совсем. Я всегда думал, что мозг должен последним из всех человеческих органов прекращать свою деятельность, что мысль на несколько мгновений должна переживать остального человека. Поэтому я несколько не удивился, что в моем сновидении тело уже перешло через ту страшную пропасть, «откуда смертный не возвращается вовек», тогда как сознание все еще оставалось в сером полусвете, предшествующем великой Тайне. Таким образом, моя мысль, связанная, как мне казалось, с остатками исчезающей жизненной силы, следила с любопытством за приближением своего собственного разрушения, то есть *уничтожения*. «Я» спешило отметить мои последние впечатления прежде, чем темный покров вечного забвения закроет меня навсегда, прежде чем Я испытаю *торжество* подтверждения всех моих убеждений и того, что смерть есть полное прекращение сознательного бытия. Темнота вокруг меня росла с каждой минутой. Передо мною двигались серые большие тени, вначале медленно, затем движение их все ускорялось, и под конец они закружились в вихревом движении головокружительной

быстроты. Затем, словно движение их служило только для сгущения темноты, – оно стало все более замедляться, а когда темнота превратилась в абсолютную темноту, движение прекратилось и совсем. Теперь передо мною не было ничего, кроме черного, неизмеримого Пространства; и оно представлялось мне столь же безграничным и безмолвным, как океан Вечности, над которым Время – создание человеческого мозга – скользит безостановочно, бессильное переплыть через него.

Сновидения определяются Катонем как «образ наших надежд и опасений». Никогда не страдавший страхом смерти, я чувствовал себя спокойным и ясным пред предстоявшим концом. Я даже радовался своему скорому избавлению от непрерывной тоски, которая непрестанно грызла мое больное сердце в течение томительных месяцев и под конец стала невыносимой; и если – как Сенека думает: «смерть лишь прекращение того, чем мы были», в таком случае лучше всего было для меня умереть. Тело уже умерло; «я», то есть его сознание, готовится последовать за ним. Мысль начнет постепенно работать все слабее, туманнее, пока полное забвение не охватит меня своим холодным саваном.

Желанна для Меня таинственная рука Смерти, великого Мирового Утешителя; глубок и безмятежен сон в его нерасторжимых объятиях... Тихая пристань среди бушующих волн жизненного океана, шумный прибой которых вотще разбивается о скалистую твердыню Смерти. Счастлив тот одинокий челн, который после страшной борьбы на свирепых волнах земной жизни достиг, наконец, тихих вод ее черной бездны. Прикрепленная навсегда, не нуждающаяся ни в парусе, ни в руле, моя ладья найдет там вечный покой. Приветствую тебя, Смерть-избавительница, и прощай, несчастное тело, давно уже не знающее ничего иного, кроме страдания!..

Произнося этот гимн смерти, я наклонился над распростертым телом своим и стал рассматривать его с любопытством. Чувствуя, как окружающая темнота давила на меня со всех сторон, я вообразил, что ко мне приближается желанный Освободитель. А между тем... как странно! Если после смерти умирает все мое «я», следовательно и сознание; почему же оно не бледнеет, почему мой мозг работает энергичнее, чем когда-либо... между тем, как сам я ведь умер? И обычное чувство тоски не уменьшается; наоборот, оно становится еще сильнее... до невыразимой степени!.. Когда же придет забвение?.. Ах, вот опять мое тело!.. Исчезнувшее из вида на одну секунду, оно вновь появляется передо мной. Какое оно бледное и страшное! А между тем, его мозг еще не умер, так как «я», его сознание, все еще действую, так как оба мы живем и мыслим, оторванные от нашего создателя и его мыслетворящих Клеток...

И вдруг меня охватило сильное желание узнать, в какой момент разложения будет наложена последняя печать на мозг и его деятельность. Я стал рассматривать свой мозг во всех головных впадинах сквозь совершенно прозрачные (для меня) кости черепа и даже *потрогал* мозговое вещество... Как и какими руками, я не могу теперь сказать, но ощущение липкой, необычайно холодной материи произвело на меня чрезвычайно сильное впечатление. К великому моему смущению, я убедился, что кровь окончательно застыла, а так как мозговые волокна не могли при этих условиях развивать молекулярную деятельность, я совершенно перестал понимать то, что происходило со мной. Но у меня не было времени, чтобы предаваться размышлениям. Новая и совершенно необыкновенная перемена в моих ощущениях поглотила все мое внимание... что это такое?..

Та же тьма была вокруг меня, как и раньше, черное, непроницаемое пространство, простирающееся во всех направлениях. Но теперь прямо передо мной, в каком бы направлении я ни глядел, передвигаясь вместе со мною, куда бы я ни двинулся, повисли гигантские круглые часы; огромный диск, широкое до ужаса, белое лицо которого зловеще светлело на черном фоне.

Когда я посмотрел на его огромный циферблат и на маятник, качавшийся взад и вперед,

медленно и мерно, словно его взмахи разделяли вечность, я увидел, что его стрелки показывали *семь минут шестого*. «Тот самый час, в который началась моя попытка в Киото!» Только что успел я это подумать, как к моему неизобразимому ужасу я почувствовал то же самое, что и в тот роковой час; я поплыл под землю, быстро подвигаясь вперед внутри ее состава; я снова был в той же могиле и снова узнавал мужа моей сестры в искалеченных остатках; я был свидетелем его ужасной смерти; входил в дом моей сестры; видел всю ее агонию, и как она сошла с ума. Я проходил через те же самые сцены, не пропустив ни единой подробности. Но увы, я уже не был тем безразличным существом, которое в первом моем видении оставалось так же равнодушно, как кусок скалы. Мои нравственные мучения были выше всякого описания и становились почти невыносимы. О, как я страдал среди всех этих ужасов, в ряду которых уверенность в посмертном существовании – ибо в этом сновидении я твердо верил, что мое тело умерло – прибавляла самое устрашающее из всех переживаний!

Сравнительное облегчение, которое я почувствовал, когда на смену картинам страдания появилось большое белое лицо циферблата, длилось недолго. Длинная заостренная стрелка на колоссальном диске указывала на *семь с половиной минут шестого*. Но прежде, чем я успел подумать о происшедшей перемене, стрелка медленно передвинулась назад и остановилась как раз на семи минутах и, о проклятие!.. я снова был принужден повторять все сначала! Снова я плыл под землю и видел, и слышал, и переносил все пытки, какие только могут существовать в аду; я возвращался назад только для того, чтобы снова видеть, как на роковом диске, после перенесенных страданий, которые казались мне вечностью, стрелка передвигалась ровно на полминуты вперед. Я смотрел на нее и видел с усиливающимся ужасом, как она снова двигалась назад, меня же, одновременно с этим движением, гнало снова вперед. И так продолжалось раз за разом, в бесконечной последовательности, которая, казалось, не имела начала и никогда не будет иметь конца...

Хуже того: мое сознание, мое «я» приобрело удивительную способность утраиваться, учетверяться и даже удесятеряться. Я жил, чувствовал и страдал в одно и то же время в нескольких различных местах, переживая события из моей собственной жизни, происходившие в разные эпохи и при различных условиях, хотя господствовало надо всем остальным мое *духовное* переживание в Киото. Как в знаменитой фуге Don Giovanni сердце надрывающие звуки трагической арии Эльвиры звучат *над* мелодией, не сливаясь ни с менуэтом, ни с песней соблазна, ни с хорами, так и я переживал снова и снова мои скорби, повторение которых не утоляло ни на йоту ощущение невыразимого отчаяния и ужаса... но и ужас этот ничуть не ослаблял те картины и события, не имевшие с ним ничего общего, ничем не связанные с ним, которые я переживал одну за другой: это было нечто граничившее с безумием! Ряд фантазмагорий из реальной жизни. В течение одной и той же полминуты я мог присутствовать с *холодным вниманием* при сцене сумасшествия моей сестры и чувствовать в то же время адские муки, какие я переживал по поводу того же события, приходя в сознание; или слушать философские рассуждения бонзы и презрительно пробовать смеяться над ним; или чувствовать себя ребенком, юношей, слушающим любимые голоса моей матери и моей дорогой сестры, поучающими меня, как следует себя вести с ближними; или спасать утопавшего друга и в то же время издеваться над его старым отцом, который благодарил меня за спасение «души», еще не готовой предстать перед своим Создателем.

«Говорите после этого о *двойственном* сознании, вы, психо-физиологи! – крикнул я в один из тех моментов, когда нравственная агония достигла такой напряженности, которая могла бы убить целую дюжину живых людей. – Говорите о ваших психологических экспериментах, ученые мужи, надутые гордостью и книжной мудростью! Я докажу вашу ложь...» И я начинал цитировать ученые произведения и спорить с профессорами и лекторами, которые привели меня

к этому фатальному скептицизму. И в то же время, как я доказывал невозможность сознания, разлученного с мозгом, я плакал кровавыми слезами над предполагаемой судьбой моих несчастных племянников. Более того: я знал, как только может знать освобожденное сознание, что все виденное мной в Японии и все, что я видел и слышал снова и снова, было верно во всех подробностях, что это была длинная нить страшных и, в то же время, действительных фактов.

Сотни, может быть, раз мое внимание приковывалось к стрелке часов, и я уже терял счет своим круговращениям и приходил к заключению, что сознание в конце концов неразруσιμο и что так должны чувствовать себя осужденные грешники – «если бы вечные мучения не были логически и математически невозможны в вечно прогрессирующей вселенной» – все же находил я силу для новых рассуждений. Странно, а между тем в этот час все растущей агонии мое сознание продолжало возмущаться и отрицать все, кроме себя...

Нет, независимое существование своего сознания я более уже не отрицал, но будет ли оно со всем тем существовать *вечно*? О, непостижимая, вечно устрашающая Реальность! Но если ты существуешь вечно, кто же ты? Откуда приходишь ты, и где твое начало, если ты не часть этого окоченелого трупа? И куда ведешь ты меня, который есть ты сама, и будет ли когда-либо конец нашим мыслям и нашему воображению? И каково истинное имя твое, о неисповедимая Реальность и непроницаемая Тайна! Да, я уничтожил бы тебя, если бы мог... «Видение души!..» Кто говорит о душе и чей это голос? Это ложь. Моя душа, дух жизни во мне умер вместе с серым веществом мозга. А что это мое «я», это сознание будет существовать вечно, это еще не доказано для меня... Перевоплощение, в действительности которого бонза так стремился убедить меня, может быть и существует... почему нет? Разве цветок не распускается из года в год от того же корня? Отсюда следует, что это я, отделенное от своего мозга, утерявшее свое равновесие и вызывающее такой сонм видений... до перевоплощения... Я снова очутился лицом к лицу с неумолимыми часами, и пока я следил за их стрелками, я услышал голос бонзы, исходящий изнутри белого циферблата: «В этом случае – я боюсь – вам придется лишь открывать и закрывать двери храма снова и снова в течение периода, который вам покажется целой вечностью...»

Часы исчезли, тьма заменилась светом, голос моего старого друга потонул в многочисленных голосах, раздававшихся с палубы, и я проснулся на своей койке, покрытый холодным потом и совсем измученный.

8. Скорбная повесть

Мы высадились в Гамбурге, и едва я успел увидеть своих компаньонов, как, напутствуемый их добрыми пожеланиями, отправился в Нюрнберг. Через полчаса после моего прибытия последнее сомнение в точности моих видений исчезло. Действительность оказалась хуже самых мрачных моих ожиданий. Муж моей сестры, раздавленный в колесах машины, моя сумасшедшая сестра, быстро приближавшаяся к концу своей жизни; моя племянница, чудный, еле распутившийся цветок, обесчещенная в гнусной берлоге, младшие дети, погибшие от заразной болезни в приюте для сирот; мой единственный выживший племянник, исчезнувший без вести...

Все, что я любил – погибшее и развеянное, и я один остался в живых, чтобы быть свидетелем смерти, отчаяния и бесчестия. Удар был слишком силен, и я лишился сознания. Последнее, что уловила моя мысль – были слова бургомистра: «Если бы вы, покидая Киото, протелеграфировали властям Нюрнберга о вашем намерении принять участие в осиротевших детях, мы разместили бы их иначе, и они избегли бы своей тяжелой участи. Они переселились не очень давно в Нюрнберг; никто не знал, что у детей есть родственник с обеспеченным состоянием. Они остались без всяких средств и при этих обстоятельствах нельзя и претендовать на иные распоряжения... Я могу только высказать искреннее сожаление...»

Если бы я послушался дружеского совета бонзы Тамоора и телеграфировал властям после того видения в Киото, я бы спас, по крайней мере, мою дорогую племянницу от ее тяжелой судьбы. Это сознание, вместе с тем фактом, что я не мог более сомневаться в ясновидении и яснослышании, возможность которых я так долго отрицал – все это вместе раздавило меня. Людского осуждения я мог избежать, но не угрызений совести, не упреков моего собственного больного сердца, и это навсегда, до последней секунды моей жизни! Я проклинал мой упорный скептицизм, мое отрицание фактов, мое воспитание, я проклинал и себя, и весь мир...

В течение нескольких дней, пока я устраивал свою несчастную сестру и племянницу и добивался наказания старой еврейки, я еще держался на ногах, но затем силы покинули меня. В течение нескольких недель я находился между жизнью и смертью, в когтях нервной горячки. Под конец мой сильный организм преодолел, и, к величайшему моему горю, меня объявили вне опасности. Возврат к жизни привел меня в отчаяние и, конечно, не к утолению этого отчаяния послужило немедленное возвращение – в первые же дни моего выздоровления – тех непрошенных видений, реальность и верность которых я не мог уже более отрицать. Таким образом, каждый раз, когда я оставался хотя бы на минуту один, я испытывал беспомощную пытку прикованного Прометея. В тихие ночные часы, словно приведенный какой-то безжалостной железной рукой, я снова находился у постели сестры, принужденный следить за медленным умиранием ее ослабленного организма, переживать те мучения, которые ее собственный опустошенный мозг не мог уже более отражать. Этого мало: я должен был день за днем смотреть на невинное лицо моей молодой племянницы, до того детское и незапятнанное, несмотря на все случившееся, а ночью быть свидетелем, как воспоминание о бесчестии, навсегда отравившем ее молодую жизнь, возвращалось к ней немедленно, как только она засыпала. Ее сны принимали для меня объективную форму, как тогда, на пароходе; я должен был переживать их ночь за ночью и каждый раз испытывать то же беспредельное отчаяние. Ибо теперь, когда я *верил* в реальность ясновидения и пришел к заключению, что в нашем теле скрыто нечто, как в гусенице куколка, которая в свою очередь заключает в себе бабочку, символ души, – с этих пор все мое прежнее равнодушие к моим душевным переживаниям исчезло навсегда. Нечто раскрылось во мне, как бы внезапно освободилось из своего окоченелого кокона. Для меня стало очевидным, что я видел уже не благодаря отождествлению моей внутренней сути с даидж-дзином; теперь мои

видения возникали благодаря личному психическому развитию, тогда как вражеская сила заботилась лишь о том, чтобы я не видел ничего отрадного и возвышающего душу. Теперь все страдания моих близких находили горячий отклик в моем кровью исходящем сердце. Глубокий родник любви и скорби хлынул из моего земного сердца, отдаваясь в моей пробужденной и освободившейся из тела душе. Так суждено мне было испить всю чашу страданий до последней капли... О, как я скорбел над своим гордым безумием, которое заставило меня отказаться от предложенного «очищения»... Да, я дошел до того, что поверил даже и в это... Даидж-дзин действительно приобрел власть надо мной, и враг спустил самых свирепых псов со всего ада на свою жертву. Наконец, разверстая пропасть закрылась передо мною. Несчастную мученицу, мою сестру, опустили в темную могилу, а через несколько месяцев за нею последовала и ее молодая дочь. Чахотка быстро разрушила молодое нежное тело. Не прошло и года после моего возвращения, как я остался один на всем свете; – единственный оставшийся в живых племянник отправился в кругосветное плавание.

Теперь мне остается рассказать немного, лишь грустный конец моей грустной истории. Превратившийся в калеку, имея в тридцать лет вид шестидесятилетнего старика и, благодаря никогда не прекращавшимся видениям, приближавшийся к границам безумия, я остановился внезапно на отчаянном решении. Я решил вернуться в Киото, найти ямабуши, пасть к ногам святого человека и не отставать от него до тех пор, пока он не вернет меня в прежнее состояние.

Через три месяца я был снова в своем японском доме; разыскал своего старого, почтенного друга, Тамоора Хидейери, умоляя его отвести меня к ямабуши. Его ответ наложил последнюю печать на мою роковую судьбу. Ямабуши покинул страну, отправившись в благочестивое странствование, которое, по обычаям его ордена, должно было длиться не менее семи лет.

В своем отчаянии я обращался к помощи других мудрых ямабуши, но это не послужило ни к чему: никакой другой «адепт» не мог принести мне исцеления. Я узнал от них, что только тот, который вызвал даидж-дзина, может иметь власть над этим демоном ясновидящего одержания. С глубоким милосердием, которое я только теперь научился ценить, святые люди предложили мне присоединиться к группе их учеников для того, чтобы узнать все, что может помочь мне. «Только ваша собственная воля и вера в ваши душевные силы могут помочь вам, – говорили они. – Но понадобится несколько лет, чтобы уничтожить хотя бы часть великого зла, – прибавляли они. – Даидж-дзина легко удалить вначале; если же его оставить, он овладевает всем существом человека и почти невозможно искоренить врага, не уничтожив при этом и его жертву.

Видя, что мне не оставалось ничего иного, я с благодарностью принял их предложение и изо всех сил старался поверить всему тому, чему эти святые люди верили. Но старания эти оказались тщетными: дух отрицания и сомнения укоренился во мне глубже даже, чем даидж-дзин. И все же я решил не упускать этот последний шанс на спасенье и принялся за приведение в порядок всех своих житейских обязательств: я разделался со своими гамбургскими компаньонами, сделал завещание в пользу своего племянника – на случай, если бы он возвратился из своего плавания, оставив для своих личных потребностей ничтожную часть своего, оказавшегося очень значительным, состояния, и то по настоянию своих друзей. Я знал теперь вместе с Лао-цзы, что *знание* – единственная крепкая опора, которой может довериться человек, что она не разбиваема никакими бурями. Богатство – слабый якорь в дни скорби, а самомнение – самый роковой из всех советчиков. Устроив свои земные дела, я присоединился к «Учителям Дальнего Видения», которые приняли меня в свое таинственное местопребывание. Там я оставался в течение нескольких лет, серьезно изучая их науку в полнейшем уединении, не видя никого, кроме нескольких членов нашей религиозной общины.

Много тайн природы постиг я с тех пор. Много поглотил тайных фолиантов из библиотеки

Тзионене и приобрел, благодаря этому, власть над несколькими видами невидимых существ низшего порядка. Но приобрести тайну власти над страшным даидж-дзином я так и не мог. Тайной этой владеет очень ограниченное число Посвященных Лао-цзы, и большая часть самих ямабуши не знали, как овладеть этим опасным элементом. Чтобы приобрести такую власть, мне нужно было отождествиться вполне с ямабуши, проникнуться их верованиями и достигнуть высшей ступени Посвящения. Естественно, что я оказался неспособным на это, не говоря уже о моем неискоренимом скептицизме, хотя я искренно старался поверить. Таким образом, облегченный отчасти от моих страданий и наученный, каким образом удалять от себя непрошенные видения, я все же и до сих пор не в состоянии предупредить их непрошеное появление, которое повторяется от времени до времени. Относительно святого человека, который был первой невинной причиной моего несчастья, я не мог узнать ничего. И сам старый бонза, навещавший меня в моем уединении, не мог или не хотел указать мне местопребывание ямабуши. Когда исчезла всякая надежда на то, что я когда-либо буду освобожден от моего рокового дара, я решил вернуться в Европу и поселиться в одиночестве на весь остаток моей жизни. С этой целью я купил с помощью моих прежних компаньонов швейцарское шалэ, в котором родились и я, и моя покойная сестра, в котором я рос, окруженный ее нежными заботами; его я и выбрал для своего последнего земного жилища.

Прощаясь со мной навсегда на палубе корабля, увозившего меня на родину, добрый бонза старался утешить меня и примирить с моими разочарованиями. «Сын мой, – сказал он, – смотрите на все случившееся с вами, как на *вашу карму* – как на справедливое возмездие. Ни один человек, подвергнувший себя добровольно власти одного из даидж-дзинов, не может надеяться стать когда-либо архатом (адептом), не подвергнувшись немедленному очищению. В лучшем случае он может добиться – как сделали это вы – способности противодействовать своему врагу. *Подобно шраму, оставленному после себя ядовитой раной, следы даидж-дзина не могут никогда быть стерты с души, пока она не очистится новым рождением.* И все же не унывайте и не тяготитесь вашим положением: оно повело вас к познанию и к принятию многих истин, которые иначе вы отвергли бы с презрением. Этого же бесценного познания, приобретенного страданием и личными усилиями, ни один даидж-дзин не может лишить вас никогда! Прощайте же, и да будет над вами помощь и защита Матери Милосердия, великой Царицы Небесной».

Мы расстались, и с тех пор я веду жизнь отшельника в непрерывном одиночестве, никогда не переставая учиться. Хотя у меня от времени до времени еще бывают тяжелые дни, я никогда не жалею о годах, проведенных у ямабуши, и глубоко благодарен им за полученные знания.

С Тамоора Хидейери, искренно почитаемым мною, я постоянно переписывался до самого дня его смерти – события, при котором я имел незаслуженное счастье присутствовать, несмотря на разделявшие нас моря, в тот самый час, когда оно совершилось.